
Владимир АЛЕЙНИКОВ

ВСПОМНЮ И ВОСПОЮ

...Петербург в конце февраля и в начале марта, прекрасный город снов и мечтаний, рай, за воротами которого высвечен в полумгле, в трепещущей, зыбкой, беспокойной дымке, в тумане, в переполненном влагой воздухе, над скоплениями крыш, над всем, что вверху и внизу, вокруг, и в былом, и в явленном ныне, жутковатый и притягательный, грозный лик Медузы горгоны, —

Петербург, желанный, зовущий неизвестно куда, чужой и родной, обжитой, знакомый, со звонками друзей телефонными, долгожданнами встречами, новыми разговорами и прогулками, размышлениями и догадками, пониманием и вниманием, неким гулом за каждым словом, каждым шагом и каждым взглядом, гулом странным, то отдаленным, то чрезмерно близким, томящим, различимым ежесекундно, гулом бездны морской и выси поднебесной, гулом тревожным галактической глубины, звучанием, оркестровым, органным, властным, —

Петербург за окном вагонным отодвинулся вдруг, остался позади, на месте своем, там, где был он необходим людям, птицам, ветрам, речам, всем живущим и всем поющим, всем частям единого целого, дивной ткани, великой музыки, вечной муки, блаженства, блажи, отголосков абсурда, бреда, всплесков радости, песен счастья и любви, томленья по чуду, светлой грусти, горенья общего и дыханья долгого, повести о таком, что слишком уж дорого для души и для сердца, истинном, всем, всему, решительно всем, —

поезд шел, набирая скорость, вдоль снегов и лесов, незаметно превращались минуты в часы, день все длился, — ну вот и Москва.

...Я проснулся от птичьего щебета. В лесу, за моим окном, звонко, самозабвенно, пичуги, слава по-своему солнечный свет и утро мартовское, со снегом, с зеленью хвои сосновой, со сквозной белизной берез, вопрошая о чем-то важном, пели на все лады.

Ответить на эти вопросы предстояло, видимо, мне.

Почему? Да так уж сложилось. Не случайно — это уж точно. По судьбе, пожалуй. Конечно же. По судьбе. Как в сказке. Вернее — в яви. Нашей. Такой, в которой все возможно и все бывает. В том числе и необъяснимые никакой заграничной логикой, но

Владимир Дмитриевич Алейников — русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился в 1946 году в Перми. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии Андрея Белого, Международной отметины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-лист премии Букера, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», книга «Тадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», «Перформанс». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет в Москве и Коктебеле.

живые, давно привычные в настоящем сумбурном времени и уже помаленьку идущие чередой неровной в грядущее, наши, кровные, несомненные, неизбежные, сокровенные и поэтому — драгоценные, вдохновенные, дерзновенные, незабвенные чудеса.

...Начало семидесятых — зов распаханного пространства, прохожденье сплошное сквозь время, неизменная тяга к людям.

Не сидится мне что-то на месте. Постоянно тянет — уехать. Почему? Поди догадайся. Отчего? Да как объяснить? Объяснять ничего не надо. Не изынешь напев из лада. Не упрячешь в темницу взгляда. Всюду вьется наитья нить.

На душе тяжело. Пусть и так. Даже так, даже с тяжестью этой на судьбу никогда не сетуй. Видишь новый — поодаль — знак? Слышишь новый — поближе — звук? Ну-ка вслушайся! Чтоб взглядеться, чтобы снова тебе распеться, чтобы выбраться из разлук, чтобы встречи твои, кружась так естественно и пристрастно, стали музыкою прекрасной, продлевай круговую связь.

Жар души — не полоска дыма в небе утреннем. Не секрет, что нелеп иногда поэт. Но держаться — необходимо!

Кто-то свыше, чую, поддерживает, укрепляет, хранит меня.

Потому и стою упрямо на краю ненастного дня.

Хребтом постоянно чувствую горную эту подмогу.

Ну а то, что жизнь сложновата, — пустяки, да и только, ей-богу!

Все во мне, я во всем. Все это речь готово мне даровать.

Двигаться — это значит просто существовать.

И в этом движении, в стремление ко всем — мое возвышение, решение проблем.

Иногда меня тяготило тесное пространство квартиры — просто потому, что здесь были стены, создающие невольное ограничение для движения, но, признаться, жили здесь и некоторые воспоминания, бередящие душу, и приходили они ко мне тогда, когда я оставался один, и были тяжелы, а то и мучительны, и, как я ни сопротивлялся, какую ни выстраивал защиту, они все равно появлялись, и тогда срабатывала интуиция, и я, просто-напросто мгновенно собравшись и захлопнув дверь за собою, выходил в окружающий мир, вырывался на волю.

Но это значило — к людям.

Если говорить честно и прямо, то слишком уж многое тяготило меня.

Не всегда душа была на месте.

Не всегда помогало общение, даже хорошее, дружеское. Некий нерв, не дающий мне покоя, постоянно ощущал я внутри, — нерв, или еще что-то, струнку некую, задеть которую могло что угодно и когда угодно, — и она отзывалась тогда, звучала, и в звучании этом слышал я отзвук трагизма.

Но надо было держаться во что бы то ни стало.

Слишком уж многое, в самом деле, тяготило меня.

Я уезжал к родителям, в Кривой Рог. Отдышавшись там, писал стихи. Опять возвращался в Москву.

Предчувствие резких перемен в жизни и судьбе не оставляло меня. Так и случилось.

Меня словно втянуло в неудержимое движение.

На месте мне не сиделось.

Вечером я мог быть в гостях, читать там стихи или участвовать в общем разговоре, ночью уже трясся в поезде до Ленинграда, рано утром шел к Неве, бродил по ули-

цам, днем оказывался в Павловске или в Царском Селе, потом возвращался в город, навещал кого-нибудь из друзей, из приятелей, из знакомых — Володю Бродянского, как обычно, или Андрея Битова — нередко, или Борю Гройса — эпизодически, или Мишу Шемякина — периодически, — в зависимости от настроения, к кому тянуло, — и рвался назад, в Москву.

Что это было?

Ртутное перетекание электричек в глубину дали, воспаленное мерцание дорожных огней, ночные душевные беседы в тамбуре или в купе — с кем-нибудь из случайных попутчиков, с кем-нибудь, все равно ведь — с людьми, вокзальная толчея, разматы- вающаяся лента шоссе, попутные машины, мелькание лиц, отголоски мелодий, чужие и знакомые голоса, набухание слов где-то внутри, предощущение звука, вызывающе- го за собою стихи, — все это сливалось воедино, запоминалось, и все было материалом, почвой для творчества.

Катилось яблоко в пространство, чтобы образ его — остался...

Не проси у зеркала того, что открыто лишь для одного, что вернуть не может ниче- го — ни упавших в бездну ожиданий, ни метелей где-то в стороне от людей, растерян- ных вдвойне оттого, что даже при луне никому теперь не до гаданий. Злая воля — что там, старина! — запретит другие имена, тяжесть бед взвалив на рамена, что и так суту- литься устали в зазеркалье обморочных лет — из него — с похмелья или нет? — поза- бытый смотрит силуэт, спрятав луч в магическом кристалле.

Грань! — вот что всегда меня притягивало, вот что всегда меня интересовало.

Что это за понятие? Что за неминуемость такая?

Что это — грань? Что же собрано — столькое — в ней одной? Да и что же — потом, за гранью?

Грань — между чем-то и чем-то. И столько их, этих условных «чем-то», на повер- ку оказывающихся самой что ни на есть реальностью, оголенной, порой беспощад- ной, всегда трезвой и властной явью, перед которой оказываешься нередко застигну- тым врасплох, с которой сталкиваешься лицом к лицу, с которой приходится как-то уживаться, сосуществовать. Иначе... А что — иначе? Бывает и иначе. Потому что ино- гда встает за гранью — еще и нечто ирреальное, с полным отсутствием рационально- сти, наоборот, с элементами бреда, абсурда и даже, вынужден признаться, с преобла- данием фантастического или, в некоторых случаях, просто не укладывающегося, не вписывающегося ни в какие разумные, знакомые, привычные для большинства людей рамки, правила и так далее.

Грань. Всегда — новизне дань. Самая рань — времени, еще неизвестного для тебя, только приоткрывающегося тебе. Состояния — в природе: брезжущего, пробуждаю- щегося, подразумевающего дальнейшее движение и развитие самых разных, не толь- ко будничных, обыденных, но и невероятных, неслыханных событий, пребывание — перед светом, напряжение — перед звуком, ожидание — перед знаком.

Грань. Черта незримая. Между разными временами.

Резкая грань — в былом — отчетливая, порой болезненно осязаемая, — между десятилетиями.

Так и уходила, неминуемо, постепенно, так и отодвигалась куда-то назад, неумо- лимо, закономерно, — вся эпоха, в которой я жил и работал, в которой любил я и му- чился, радовался и грустил.

Целая эпоха. Боже мой! Эпоха.

И теперь — новая грань. Между столетиями. И даже между тысячелетиями. Поди осознай такое!

Грань. Между состояниями.

Состояниями души. Состояниями любви. Состояниями надежды. Состояниями веры.

Состояниями самыми важными, наиважнейшими, — и малозначительными вроде бы, но оказывающимися потом тоже важными, как и все вообще в жизни, ибо в ней нет и не было никаких мелочей.

Особенно если живешь с полной отдачей, на всю катушку. Если играешь, как говорится, но крупной. Если способен ты выразить всю полноту жизни. Своей — и всеобщей, вселенской.

Грань. Фаска судьбы. Лезвие.

Грань — в кристалле. Магическом. Творческом.

Грань — в бытии твоём. Здесь, на земле. И далее. Выше. Намного выше. Там, где извечный свет.

Грань — между творческими периодами. Ну, уж этого я навидался. Много кое-чего мог бы я порассказать об этом. Но можно и так: задать работенку грядущим исследователям. Работа есть работа. Трудитесь, господа! Совсем не обо всем — и совсем не о том, чего вы ждете от меня, говорю я сейчас. Период — завершение порыва. Период — он лишь до поры, до нового порыва в пространство и время, в речь. До прорыва туда. Период — нечто законченное, состоявшееся, а значит, уже отошедшее в прошлое. В периоде — ритм. За периодом — угадывание пульса грядущих дней, вибрации нарастающего, зрению и слуху открывающегося, вовлекающего тебя в свое неизменное движение, бытия новизны, жизнотворного изумления, обновленного разом восприятия мира, осмысления каждого мига, и часа, и дня в этом снова дарованном мире, понимание сути его, осознание ценности этого дара, и потом уж, на звук и на свет, с Божьей помощью, чувствуя путь, выражение мира — в слове.

Ох, эта грань — между шестидесятыми и семидесятыми!

Каждый из нас ощущал и осмысливал — и выражал ее, если он писал или рисовал что-то, — по-разному: чутче ли, точнее ли, пронзительней ли, смелее ли, ежели было ему это дано, упрощенней ли, поверхностней ли, ежели сил для этого далеко не всегда хватало, но в любом случае — по возможности честно, ответственно, искренне, так, как умел. Пожалуй, только из совокупности всех этих ощущений, осмыслений и выражений может высветлиться, так сказать, портрет этой грани.

Хотя — постоите-ка, погодите. Почему — так? Почему — такой вот коллективизм?

Искусство — дело сугубо индивидуальное. В каждом отдельном случае человеческого — единственное в своем роде. Со своим лицом. Со своим голосом. Со своим светом. Если это — искусство.

И, значит, важен любой из творческих примеров, любой из достигнутых результатов. И стоит ко всем им, в отдельности, прислушаться, присмотреться. Осмыслить — что это такое? Понять — значимость их, каждого из них, — для искусства, для литературы. И тогда, сам по себе, обязательно, потому что иначе и не бывает, очевидным для всех станет наиболее яркий, наиболее значимый, наиболее важный пример — проникновения в суть.

Пограничные области. Пограничные состояния.

Одно десятилетие — уходит, другое — начинается, идет, движется, и ты должен, обязан жить — в нем. Нет ему еще выражения — так найди его.

Но прежде всего — сумей осознать: для чего она? — эту новую грань, что всегда столь важна для тебя.

Сумей сказать о ней. Да так, чтобы — надолго, желательно — навсегда. Сумей преодолеть ее, эту грань. Потому что за ней — победа. Потому что за ней — новизна. Потому что за ней — грядущее. Ну а с ним — продолжение речи.

...Так что же все-таки грань?
И что же — за ней, за гранью?
Призыв мой — в самую рань.
Горенье. Воспоминанья.

...Вот разматывается, расправляется спираль времени — и я из девяностых, из конца безумного века, и вслед за этим — из века нового, свободно перехожу — туда, в самое начало семидесятых, и лучше — еще точнее, в свой, незабвенный, семьдесят второй год, в свои скитания по городам, свои бездомицы, — туда, где был я молод и одинок, несмотря на то, что периодически находился на людях, ибо — такая судьба, такая планида, и ничего с этим не поделаешь, не изменишь того, что есть.

И пусть со всех сторон взывают сейчас ко мне все не допущенные в мою прозу фрагменты, — я тверд в своем решении: все это будет ждать своего часа, и он придет, я знаю, придет, наверняка придет, со своим, новым совсем, звуком, со своим, новым уже, потому и особенным, светом, со своим, иным, чем теперь, строем, — ждите, мои писания, ждите, набирайтесь-ка сил, терпите, наливайтесь мощью, вылеживайтесь, по привычке моей многолетней, будьте с речью дружны, — вы умеете ждать.

И текст меняет структуру, становясь отрывочней, сжатей, пульсируя в тех твердо очерченных рамках, которые я для него установил.

Об этом времени у меня — много чего сказано.

И еще больше будет, конечно же, сказано — позже, потом.

А пока что — меняется ритм, и дыхание, да и сама графика текста становится порой иероглифичней, — и джазовый наигрыш, вырвавшись то ли со скифских, далеких, но тем не менее близких для души и для сердца, родных, то ли с московских, близких, а на самом-то деле далеких для души и для сердца, чуждых, как ни странно это, холмов, продолжает звучать сквозь время.

Он и сейчас — в моем сознании, слышимый как-то наискось, небось оживающий исподволь, длящийся вскользь, на авось, как взгляд, за которым — сумерки, где листья летят под откос...

В июне, месяце жарком, изнуряющем, невозможном, в сердцевине, выходит, самой высокосного года грозного, то курьезного, то серьезного, в ожидании часа звездного, устремляясь вперед, в пространство, что со временем неразлучно, дням своим и рад и не рад, я отправился в Ленинград.

Приехав туда в пору белых ночей и намереваясь побыть недолго, я негаданно застрял в магнетическом этом городе, не помышляя об отъезде.

Мне там нравилось.

И не только в этом было дело.

Там я находился вдали от всего, что тревожило, невольно вызывало грустные воспоминания, втягивало в отчаянные состояния, навевало мысли, от которых первым делом хотелось бежать сломя голову, только бы избавиться поскорее от них.

Но приезд мой туда отнюдь не был бегством.

Наоборот, это был просто-напросто необходимейший шаг к новизне ощущений, к некоей новой реальности, к несколько иным, нежели в Москве, измерениям, к яви, отчасти сновидческой, остранинной, загадочной, с дозой фантастики, с неизменным присутствием недосказанности, даже тайны, порой жутковатой, отчасти же трезвой, жестокой, без всякого романтизма, и столкновение их вызывало прохладный огонь понимания, и ветер с залива, по-медузы расплеснутый, влажный, прозрачный, доносил ко мне постоянно если не звуки близких заморских стран, Европы, Атлантики, моря и суши, чужих, но таких притягательных, то уж точно — их призвуки, отзвуки,

странным образом прикипевшие к родной советской житухе, незаметно, вкрадчиво, но и настойчиво преображающие таковую, дающие ей размах, разлет, какие-то смутные, но уже брезжущие возможности, и ощущение грани, края, кромки, на которой находишься, за которой вот-вот начнется что-то из ряда вон выходящее, за которой, быть может, ждет не дождется тебя что-то вовсе уж необычайное, вся эта странная плавильня мнений и вкусов, настроений и догадок, событий и ощущений, — завораживали, настораживали, увлекали, втягивали в себя любого, не только меня, выкраивали для каждого его долю, всем сестрам дарили по серьгам, всем скитальцам давали надежду на лучшее, на что-то светлое, доброе, там, впереди, за углом, за мостом, за рекою, — и действительно было светло, даже ночью, и действительно было тепло, даже слишком тепло, и плескалась вода, и пылали цветы, и шумела спросонок листва, и высокие окна были всюду распахнуты, птицы с зарей заводили протяжные песни, и тянулись вдоль набережных и по всем закоулкам, дворам, тротуарам и скверам, в расплеснувшемся в тихую глубину и звучащем чарующе-стройною музыкой снов многомерном пространстве и во времени, щедром ко мне, беспредельные дни без дневных очертаний, границ и примет, бесконечные ночи без ночной темноты, вечера, словно в дверь, уходящие в ясное утро, — и в такой постоянности шага, порыва, полета свободного, словно в состоянии невесомости, находиться мне было приятно и легко, и слова находились в душе, чтобы выразить это когда-нибудь, в будущем, нет, уже вскоре, даже здесь, вот сейчас, — все равно я сживался с судьбой, все равно я угадывал в небе звезду над собой.

После затянувшегося душевного смятения обрел я там если и не покой, то, по крайней мере, уют и понимание.

Богемная среда, отчасти мне известная, отличалась от московской бросающимся в глаза своеобразием.

Она была контрастнее, было в ней всякой твари по паре — от людей весьма серьезных до шутов, ряженных и просто сумасшедших, и даже в спокойном чьем-то лице вдруг да проглядывало безумие.

Но было в лицах и нечто такое ломкое, светящееся, что трогало, отзывалось в душе.

Сам город, единственный в мире, прекрасный и жуткий, город-фантом, накладывал отпечаток на биографии, судьбы и творчество его обитателей.

Поэтому, может, и присутствуют в петербургской живописи, да и не только в ней, театральность, карнавальность, гротеск, утрированность образов, ломаность линий, некоторая манерность, вычурность, придуманность, порой забавная, а иногда отталкивающая, с привкусом патологии, с любовью к формальным «штучкам», которые особенно видны в живописи и графике Шемякина.

Я понимаю, он ничего поделаться с собой не мог.

Таков был город, это он воздействовал на художника. Шемякин — дитя Петербурга, порождение его.

Но если хорошенько вдуматься, вчитаться, всмотреться, то нечто общее обнаружится во всем, что создано в Питере.

А он, город, звал к себе, затягивал, вовлекал в свои глубины и провалы, таящиеся за пышными фасадами-декорациями.

Словно зачарованный, день за днем и ночами напролет бродил я по набережным и мостам, по зазеркальным садам и окраинным закоулкам, открывая для себя то, что позднее нашло воплощение в слове.

— ...Поэтому жить над Невою державной возможно, как с детства себя дожидаться, — и надо порою в неволе рождаться. И чем-то отверженным тянет такое, что гложет, как жизнь, над бессмертной рекою...

Привычно меняя пристанища, много и охотно общался я с петербуржцами, часто читал им стихи, беседовал с ними — и вскоре был признан своим.

Нам с лихвой предначертано жить Божества ключевым мановеньем — но скажи мне: к чему дорожить равноправия истовым рвеньем? Ты ни в чем ничему не перечь — если выпадут чет или нечет, ведь из них ни один пренебречь не захочет и душу излечит. Не чурайся же ветхих причин, проследив за мгновением каждым, — не затем продолжаем почин и в погоне нисколько не страждем. Собирай-ка волхвов за совет — ведь давнишний испробован метод, и всегда проверяем на свет равноденствия уровень этот. Словно локон любовь теребит — и, волокон свивая колечки, безутешно совсем норовит потушить нам венчальные свечки. Прозвучат ли шаги вдалеке, или счастью внемлет прохлада — не капризнее розы в руке своеволие Летнего сада. Потому и не выдаст гранит примиренное веры условие, что его безвозвратно хранит многократной реки хладнокровье. Оттого и не ведаем мы, что под утро наигрывать лютням, и ошибки страшатся умы, пребывая во времени смутном. И припав к окрыленью в упор, растеряв и мольбы, и котурны, обреченности греческий хор пропадает под знаком Сатурна. Не сердись понапрасну, Парис! — будут нам и миры, и химеры — и давно уж за разом взялись Афродита, Афина и Гера.

Два петербургских лидера — Шемякин и Бродский — недавно уехали на Запад.

Еще прошлым летом заходил я к Шемякину в его комнату, загроможденную мебелью, старой посудой, холстами, — и, привалившись к офортному станку, Миша вдруг задумывался, томился, бесконечно грыз лимонные дольки и явно находился на грани решительного поступка.

Почему я подумал об этом?

Почему предположение мое тогда же переросло в уверенность?

Да потому, что Шемякин вроде и находился вот здесь, передо мною, то есть — на месте, в своем жилье, пусть это были и не роскошные апартаменты, и даже не отдельная советская квартира, хорошо бы — двухкомнатная, а лучше бы — трехкомнатная, пусть даже и однокомнатная, ничего, и это сойдет, — но скорее пристанище, логово, так себе, комната в коммуналке, в меру темная, в меру просторная, как и у многих, впрочем, и грех жаловаться, особенно в питерских условиях, где жилищный вопрос, как нигде, остер и мучителен, где любой угол на вес золота, и радоваться следует, что имеется свой угол, уж какой-никакой, а свой, — и художник в нем, в своем выделенном городскими властями углу, в своей весьма артистически загроможденной всякой всячиной, от раритетной до помоечной, давным-давно уже обжитой и привычной для глаза и даже для мятежной его души, порою, в часы, когда он трудился, закрытой для посетителей, но чаще — гостеприимно распахнутой, открытой и просто для любопытствующих, и для подлинных поклонников его таланта и творчества, всех пришедших сюда обычно вмещающей комнате, — находился, да, находился, пребывал, — но его уже не было здесь.

Были — большого формата работы на стенах, с намалеванными в натуральную величину и даже с некоторым преувеличением тушами, специально приобретаемыми где-то, чуть ли не на мясокомбинате, и привозимыми сюда, где они висели на вбитых в стену крюках, и длинноволосый, близоруко шурящийся художник, в кожаной одежде с головы до пят, в массивных очках на кавказско-испанском носу, воссоздавал их, преображал и трансформировал, для чего в ход шли не только краски, но и песок, опилки и прочие материалы, придававшие впечатляющему творению фактурность, рельефность, зримую осязаемость, почти скульптурную выпуклость форм.

Были — тоже большие, но уже иного плана, ведущие свою родословную от живописи очень крупного, своеобразнейшего, таинственного и знаменитого в богемных кругах московского художника Михаила Шварцмана, с которым именно я в свое время познакомил Шемякина, работы, которые можно было бы назвать эзотерическими или мистическими, весьма выразительные произведения, в которых шварцмановские идеи, ходы и приемы, с их тончайшей гармонией и прямо-таки бездонной смысловой глубиной, Шемякиным препарировались, по-своему переосмысливались, варьировались на свой лад, после чего в них главенствовали утрированная гротесковость, сознательная, присущая всему творчеству питерского художника, с его уже в те годы достаточно громким именем и все возрастающим к нему интересом, театральность, броская, чуть ли не декорационная, а то и плакатного толка сознательная игра контрастами и много чего еще, но как бы то ни было, шварцмановская живопись была усвоена, и получился, как нынче сказали бы, этакий ремейк, при всех издержках производства и при наличии всех возникающих вопросов и претензий, вполне из себя питерский, хоть и на московской основе.

Были — груды шемякинской графики, продаваемой им всем желающим таковую приобрести, а иногда и даримой, нужным, полезным людям, графики, нередко еще и раскрашиваемой от руки Мишиной женой Ревеккой, женщиной тихой, спокойной, довольно крупной, по возрасту значительно старше художника, лет этак на десять, раскрашиваемой старательно, с несомненным чувством стиля и цвета, но в противовес жесткому, царапающемуся, с изломанными линиями, рисунку супруга все-таки очень по-женски, мягко, плавно, в блеклых, напоминающих засушенные растения из гербария тонах, отчего каждый лист, с традиционной черно-белой гаммой, словно прихорашивался, наряжался и вдруг неожиданно расцветал.

Были — массивные, на совесть сколоченные деревянные полки, в несколько этажей впечатляюще уставленные плотными рядами столетней давности фаянсовых, фарфоровых, металлических, а также сделанных из материалов, трудноопределимых в советские времена, с их повальным конвейерным производством и хроническим ширпотребом для трудящихся масс, и потому разительно так от них отличающихся, в своей броской художественности отчасти китчевых и все же весьма оригинальных по своим формам, кружек, чашек, солонок, тарелок, массивных кофейников и прочих сосудов, за версту отдающих стародавним, уютным, петербургским немецким бюргерством, надежных и солидных и с виду, и на вес, реалий прежней, давно миновавшей жизни, перекочевавших сюда из неведомых рук и скрытых ныне пеленою глухой туманной мглы чьих-то, некогда бывших устойчивой, еще не разрушенной и на клочки не растерзанной революциями и войнами явью, кухонь, столовых, гостиных и других помещений, мещанских квартир, барских особняков, — и подчеркнуто обособленно, с полнейшей независимостью от всего этого добра существовавших, словно из милости, так, по капризу, по прихоти некоей здесь находившихся, каких-то совсем уж загадочных, ни на что знакомое решительно не похожих, заковыристых штукovin и хреновин, предназначение которых было прекрасно известно художнику, но далеко не всегда угадывалось пришедшими к нему гостями.

Были — кое-какие книги, солидные, старые, в кожаных переплетах, из прежних веков, и книги, напечатанные в столетии двадцатом, куда скромнее, примитивнее, проще с виду, по всем статьям проигрывающие тем, старым, но, судя по всему, нужные хозяевам, иначе здесь бы их не держали, а также стопки альбомов по живописи.

Были — детские вещи, редкие игрушки, одежда, кисти, краски, множество всяких предметов, мелких и покрупнее, принадлежности быта, свидетельства творческой обстановки, вообще — вещи, поскольку к любой вещи Миша относился с должным вниманием, да и произведения свои создавал прежде всего как вещь.

Были — записи группы «Роллинг стоунз», которые слушал Шемякин, весь уйдя в этот грохот, ритмически покачиваясь, то и дело перематывая бобину на внушительных габаритов магнитофоне.

И собака любимая — тоже была, у ног хозяина, рядом.

Все вроде бы находилось на месте.

Все здесь — было.

Но самого Шемякина — уже не было.

Находясь у себя дома, он вместе с тем отсутствовал.

Воспринимался он — как тень, как фантом.

Похоже, был он с изрядного похмелья. Отчего и грыз лимонные дольки.

Нет бы взять да и опохмелиться, по-простому, по-человечески, по традиции устойчивой отечественной.

И — не мучиться, не томиться.

Нет, он себя мучил.

Он себя — изводил.

Он — терпел.

И, стоя посреди комнаты, худой, остроносый, покачивающийся под псевдомузикальный рев любимой группы, войдя в ритм, а возможно, и впадая в транс, неестественно бледный, нервичный, напряженный внутри, в глубине своего сознания, то ронял какие-нибудь малозначительные фразы, лишь бы что-то сказать, из вежливости, чтобы не смущать, не озадачивать меня, то вдруг замолкал, плотно сжимая узкие, искушенные губы, устремлял тусклый взгляд куда-то за окно с пыльными стеклами, за стену и дальше, совсем далеко, — а куда? — отсюда не видно, и опять говорил что-нибудь, а потом замолкал — и отсутствовал.

Я спросил его:

— Миша, что с вами?

Он ответил:

— Да так... Ничего. Ничего, поверьте, особенного. Все в порядке. Поверьте, Володя! Просто — думаю... Вот и все.

Были мы с ним, несмотря на приятельские отношения, подчеркнуто, церемонно, по старинке, учтиво, на «вы».

Чуть ли не единственный, редчайший в нашем общем богомном общении случай, когда устранилось из лексикона привычное всем «ты».

Забавно. И даже приятно.

Впрочем, случалось, конечно, что сбивались мы с Мишей на «ты».

Обращение к приятелям на «вы» было питерским фирменным знаком. Но еще и шемякинским. Личным. Так ему нравилось. Таким образом он вроде бы сохранял некоторую дистанцию, лишней раз этак ненавязчиво, между прочим, напоминал о существенном различии между Северной Пальмирой и Москвой, о чем, в странноватой своей гордыне, петербуржцы никогда не забывали. Ну как же! Петербург. Традиции. Культура. Это вам не Москва, не столица СССР! Подумаешь, сборная солянка! Питерские — они особенные. Питерские — всем еще покажут, где раки зимуют. Вот что всегда подразумевалось. А то и говорилось. Мы у себя в Москве ко всему этому давно привыкли, притерпелись. И зачастую просто не обращали на это никакого внимания. Чем и выводили из себя вечно противопоставлявших себя всем и всему, и особенно Москве и всему, что в ней происходило, вьедливых и задвинутых на своей мнимой избранности и значительности не только для отечества, но и для зарубежья жителей тогдашнего Ленинграда, в нынешние, демократические времена таки принявшихся лихорадочно наверстывать упущенное и добившихся, не без помощи возвращенных на питерской почве властей, некоторых успехов на этом кривом, запоздалом пути.

Шемякину доставляло явное удовольствие говорить: «Вы, Володя...», «Вы, Леонард...», «Вы, Лида...», «Вы, Миша...».

Пусть говорит, если нравится, — так мы все когда-то решили.

Сейчас, вспоминая это, я вдруг улыбнулся.

А сам-то! И я ведь, бывало, подчеркнуто вежливо, донельзя учтиво, ни на секунду не забывая о своей воспитанности, обращался к знакомым именно на «вы».

Может, это значило в некоторых случаях — «иду на вы»?

Да не все ли равно! В богемной братии — все возможно.

Годы потом перепутали, поменяли местами, повыветрили пресловутые «ты» и «вы».

И осталось одно — былое.

Для всех. И для каждого — лично.

Память осталась. И с нею — все, что создали мы.

Все остальное — частности. Мелочи. Сор эпохи.

Главное было — творчество. Свет, победитель тьмы.

...А Шемякин в Питере, в семьдесят первом, присутствуя — уже отсутствовал.

Для меня это было более чем очевидным.

Еще не настала тогда пора повальных, безудержных отъездов богемных людей, представителей неофициальной нашей тогдашней культуры, на Запад. И не только именно таковых, но и просто самых разных советских граждан, по различным причинам.

Что-то — подразумевалось.

Что-то — уже назревало.

Но широкий, масштабный отток в эмиграцию был еще впереди, и невозможно было даже предположить, что выльется он в итоге в то, что с характерной человеческой привычкой к упрощенному обозначению событий и понятий назовут несколько позже «третьей волной».

И Шемякин станет в ней — одним из первых, покинувших родину.

Конечно, понятно, почему он на это решился.

В полной мере состояться как художник — таковой была первейшая задача.

И состоялся ведь — там, на Западе. Уж такой, каков есть, со всеми своими достоинствами и со всеми издержками, но — состоялся.

Кстати, и вернулся ведь на родину — тоже одним из первых.

Но все это будет — потом.

А тогда, много лет назад, в коммунальной шемякинской комнате, я смотрел на Мишу внимательно — и понимал: что-то из ряда вон выходящее, необычное, радикальное, вскоре, судя по всему, с ним произойдет.

Но что?

На этот простейший вопрос тогда еще не знал я ответа.

Я уехал из Питера со странным, смешанным чувством беспокойства, тревоги, надежды — неизвестно на что, но еще и с ощущением уловленной, воспринятой мною, исходящей от Шемякина, от его присутствия-отсутствия, от непривычной для меня неопределенности происходящего, явной, крепнущей в Мише отваги.

Да, это была готовность к действию.

Это было — начало шемякинского пути.